

ВЛАДИМИР
ЛЕОНОВИЧ

НИЖНЯЯ
ДЕБРЯ

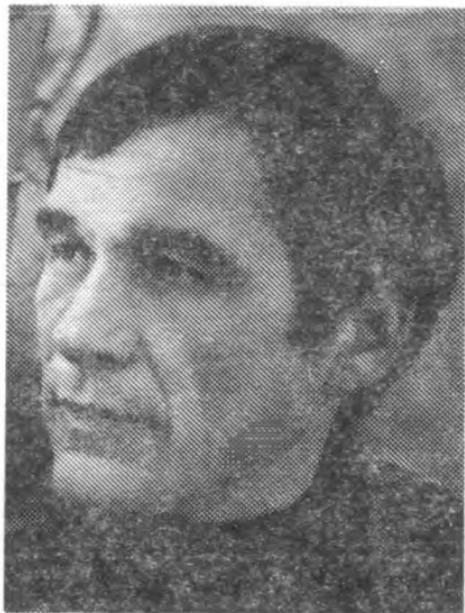
©

ВЛАДИМИР
ЛЕОНОВИЧ

НИЖНЯЯ
ДЕБРЯ

СТИХИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983



В стихах В. Леоновича органически сочетаются современность и история. Мысль и чувство поэта обращены и к его малой родине («Нижняя Дебря» — название улицы в Костроме), и к большой — бескрайним пространствам России. Цикл стихотворений посвящен Грузии, поэт пишет о давних связях русского и грузинского народов, о связях их культур. Входят в книгу и стихи-размышления о нетленных сокровищах мирового искусства.

Художник ЕФИМ СКАКАЛЬСКИЙ



1

* * *

Тихо, важно
все в природе.
Косточки Яшина
болят к погоде.

Где-то тут наверняка
положили встретиться.
У Кичмень-городка
деревенька така :
Светица.

Посреди лесов-холмов
деревенька — семь домов —
пятнышко родимое
одно неуследимое.

НАПУТСТВИЕ

Эм. Фейгину

Идти не можешь?
Беги.

Бежать не можешь?
Лети.

Лететь не можешь?
Не лги.

Понять не можешь?
Прости.

* * *

Он сучок сбивал топориком,
будто слизывал сучок.
— Мне бы, дед, к Еловым Дворикам. —
Затруднился старичок.

Комариный звон топорика
с лезвия сошел на нет.
— До Елова, стало, Дворика? —
Поглядел на сучья дед,

вытянул из груди скрюченный,
мертвый, севером измученный
коленчатый сучок:
— Вот он путь какой, милоч.

Вот тропиночка и вот она,
по колену — поверни,

по чернолеси наметана —
ходил третьёва дни.

Вышел на свет — по болотине —
оно и будет весть...

По еловой моей родине,
самой-самой, что ни есть.

* * *

Держит путь бродяга-книжник
тыщу лет назад.
На боку лежит булыжник,
изнутри — агат.

Камень грубо запеленут
непроглядной пеленой.
Сделай срез — глаза потонут —
верный срез волосяной.

Нежно-перистые круги,
облака-материки...
Разреши его от муки,
рас-секи!

Наклоняется, не слышит,
заслоняется плечом.
Быль и небыль в книгу пишет,
остается ни при чем.

Гонит поп и мир не примет
душу странную твою.

Свято Озеро обьмет,
бор затынет литию.

Рукопись в холсты укутал
вологодский Дамаскин,
божеское перепутал
с человеческим.

Выходило как хотело,
будто в легких снах...
Рукопись окаменела
в чистых пеленах.

ВОЗЛЕ СТАНЦИИ ИНЯ

Воздух тесный, воздух мгlistый
пахнет мылом и водой.
На пружине на сталистой
между небом и землей —
деревянное корыто.
Лубяная колыбель
белой марлею накрыта,
человеку шесть недель.
Деревянная теплушка,
мокрой простыни клочок.
Стирка — сушка, стирка — сушка,
тихий мальчик-грудничок.
В этот полдень, в эту стужу
навещаю я ее.
Почему живет без мужа,
это дело не мое.
Ничего она не просит:
и вагончик не сквозит,

и газетку ей приносят,
и печурка не дымит.
Не насмотрится на сына.
В «монтаже» — одна, давно...
Смотрит белая равнина
в запотелое окно.
Надо мальчику кормиться,
надо сесть ко мне спиной...
Этот воздух материнства,
одинокий и грудной,
этот запах горклый, кислый...
До свиданья второпях,
эта зыбка на сталистой
на пружине, на стробах...
Где же горе? Где обида?
Двери настежь! В горле ком:
вся равнина —
вся залита
материнским молоком!
Спи, младенец мой прекрасный,
среди бела-бела дня,
среди чудного пространства
возле станции Иня.

* * *

Не облаяла собака,
и репейник не пристал.
Хлеб, да книга, да бумага,
да презрительный металл.

Высоко о полдень солнце.
Поклонились ячмени.

Слов не много остается:
сохрани, повremени.

Обогнула поле тропка,
раздалась река Костромка,
забелела из леска
монастырская тоска.

Службы целы, стены чисты.
Голоногие туристы
в деревянном терему,
непостижные уму.

Давит солнышко на темя,
налегает тяжело.
Время набрело на время,
слово на слово нашло.

* * *

Семистенок. Сто углов-укошиц.
Выставив ступенчатый порог,
интернат, как старый броненосец,
по утрам дымит из четырех.

Затемно, покуда детям спится,
выбеги и душу озноби...
Тихо распевается синица,
и река дымится в проруби.

Где зимуют раки? Ну, не мешкай.
На снегу одежка и пешня.
Ясный месяц с грустной усмешкой
смотрит и не смотрит на меня.

До полудня — вспомнишь — и хватает
оторопи этой ледяной.
Еле-еле край мой рассветает —
низкорослый, северный, лесной.

Рассчитав хитро воздушный вектор,
поправляя шляпу пирожком,
в школу направляется директор
многоуважительным шажком.

Через час, походочкой нескорой
и держа портфель как бы дитя,
девочка проходит, о которой
я скажу немного погоды.

Вот она уже неподалеку,
вот идет, сощурясь на зарю,
мимо окон... Вот уже, ей-богу,
не дышу и даже не смотрю.

Буду в испытаньях неослабен,
больше никого не полюблю,
сиротой остался Колька Скрябин —
хочет, так возьму усыновлю.

Поле хмурое ведет и клонит,
поле все промерзло, все поет,
ветер мглу несет, поземку гонит,
обрывает галочий полет.

Достоевский. Два часа науки.
Знают все, не зная ни аза,
эти — полные судьбы и муки
черно-золотистые глаза.

* * *

Цепочка фонарей
над мерзлою дорогой.
Мы вышли из одних дверей
с девчонкой тонконогой.

Она спешит, храбрится
и на меня косится,
она порхает предо мной,
как бант косы ее льняной —
золотенькой косицы.

Я шел в раздумье праздном,
что проступает прázелень
сквозь золото ленивое,
и оттого у льна
такая блеклость и покой,
такие тихие тона...
И все ровнее шла она,
попутчиком хранимая
от нечисти ночной.

Белело впереди пятно —
ее воздушный бант,
река твердела, и одно
еще горело там окно,
как черный бриллиант.

И на обоих берегах —
хотя бы огонек.
Порхает в десяти шагах
прозрачный мотылек.

Не бойся ничего, дитя:
я отвечаю за тебя
моею бедной головой,
хранитель-ангел твой.

АНЮТА

Притомье. Низкие места.
Среди болотец
за пазухою у Христа
живет народец.

Сошли давно с Алтайских гор,
где было круто,
и ровный обрели простор
здесь телеуты.

Селенье на пути к реке
в безветрии полдня.
В черемушнике, ивняке
томится пойма.

Большой завод распространил
дымы над нею,
тончайшей сажей причернил,
понижил небо.

Мы шли — я не знакомлю вас, —
газетчик ушлый
в уме уже держал рассказ,
для дела нужный.

Он лишь детали уточнял
и, все проверяя,

сказал мне: «взяли матерьял»,
как: «взяли зверя».

Опрос был точный, деловой,
как полагалось.

Она
кивала головой
и улыбалась.

В окно идет горячий свет,
и там теснятся
герани, розы.

А лет
ей восемнадцать.

В газете будет репортаж
на два подвала
«Судьба крылатая».

Она ж
и не вставала.

Был над низиной небосвод
июньский, синий.
В тени короткой у ворот
вдыхали свиньи.

Подушки влажны, высоки,
и запах пота
мешался с запахом реки,
черемух, меда.

О как я знал, что ей помочь
я не умею!
И словно бы открылась ночь
в окне за нею.

Стоят как темные столбы
на белом свете,
стоят вовеки вдоль судьбы
зиянья эти.

И бесконечна череда,
и нету чуда,
и звуки, что ушли
туда,
нейдут оттуда.

ЖАВОРОНОК

Человек на асфальт упадет,
а на землю упанет.
Належится и встанет,
пошатается — да и пойдет.

Там ты — злостный,
а тут — озорник.
Тут я слезный
раскаявшийся ученик

тех полей, тех лесов,
что простором одним поравняло,
сорванных голосов...
Жизни мало,

Жизни мало — поля перейти,
воздух вешний
выпить — пить, выпить — пи-ить...
Посредине пути
панешь, грешный.

МГНОВЕНИЕ БЫЛО ТАКОЕ

Да здравствует тощая шкура
сельских учителей
и русская литература
за краем лесов и полей!

Я принял почетное бремя
и старшие классы повел,
разумное доброе семя
кидая в родимый подзол.

Конспекты, уроки, тетради,
картошка, дрова и поход...
И детская чуткость к неправде,
и взрослый ее обиход.

Госли — для колхозов и строек,
как будто спешили — росли.
Не велено ставить им двоек —
я ставлю им просто нули.

Но это не слишком сурово,
к тому же потерян журнал.
Герасимовы и Костровы,
немало от вас я узнал.

Писал Маяковский жестоко,
Есенин, обратно, кругло —
выходит из первоисточка.
Как вышло — да так бы и шло...

В оглобли я впятил Пегаса,
мне дети являлись во сне.
Четыре запущенных класса
меня измотали к весне.

В июле — долой с голубятни —
с сиротского прочь чердака!..
Две девочки в розовом платье —
ко мне — словно два мотылька —

Колесникова с Гончаровой:
— Учить-то нас будете, нет? —
А есть у меня уж готовый,
мною выстраданный ответ.

— Да... Буду. — Понять не умею!
И господи, обе и две
девчонки повисли на шее,
стемнело в моей голове.

Пудовые сердца удары.
Висят — задушили... К тому ж
тем летом стояли пожары,
давила великая сушь.

Вот было мгновенье какое...
А был ли ты счастлив? Вполне —
в селе Вознесенье-Николе
в моей костромской стороне.

* * *

Не будучи легким словом,
ни рифмою избалован,
я думаю иногда:
никакого труда
не требует стихотворство —
ждет одного потворства
словесная череда —

странная вереница
обратного бытия,
ты, моя ученица,
учительница моя...

* * *

С. Д.

Шагала отделочница впереди,
мы сзади. Недолго
от базы строительства до поселка —
пустырь перейти.

Забрызганы мелом ее сапоги.
От солнца слепая,
идет без пути, как попало ступая,
не видит ни зги.

В распахнутом ватнике — полы поврозь —
в сиянье апреля...
За ней, улыбаясь, все зная насквозь,
мы шли — мы смотрели.

Притомскую землю, завод возводя,
дробят и корежат.
Немало мы слов позабыли, Сережа,
но это дитя

ведет нас с тобой — не в обиду скажу
ведущему классу —
и не оглянется, пока я пишу,
ни разу, ни разу.

ГНЕВ

С. Дрофенко

Прогулочная плоскодонка —
помахивают два весла.
Родившемуся лебеденку
здесь отрубают полкрыла.

Живут под зноем и под снегом,
утратив чудо естества,
столь радикально человеком
воспитанные существа.

Я вижу мир весьма превратно,
и это есть моя беда.
Мне эта нелеть неприятна
на ртутной зелени пруда.

Одни — не могут — не летают —
другие — могут — не хотят —
и высидят — и воспитают
себе подобных лебедят.

Податлива природа птичья,
испорченная под шумок...
Бесчеловечности постичь я —
как бесконечности — не мог.

Стоят хрустальные погоды,
пруд подмерзает в октябре.
А это — гнев Самой Природы —
и за полночь и о заре:

озерный — скорбный и прекрасный —
воплъ — одинокий и родной! —
летает в каменном пространстве,
перекликается со мной...

ТОЛПА

Многолюдное место у треста,
у старой столярки.
Помеси черноземное тесто
на рыжей солярке
и набитого насмерть автобуса
пожоди.
Будь же цел
и, как сказано, божьего образа
не утрать по дороге.
Ты сел:
на подножке, на воротнике, на ветру
провисел
десять — двадцать минут...
Вороти их, пожалуй.
Стой же тут
и привычную сценку обжалуй.
Трое втиснулось в дверь,
И толпа их вовнутрь вколотила.
Трое с лишним полезло. Заклинило дверь,
и напора толпы не хватило.
Подурачиться, кости размять —
это детство,
игра,
физкультура,
азарт,
заваруха.

Все ж
поодаль — с ребеночком мать
и с клюкою старуха.
Все же некий серьез
в этой пробке и давке,
некий проклятый давний вопрос.
На пятнадцать шагов отойди.
Этот приступ удушья
и знакомая легкость в груди —
ощущенье призванья:
— Славяне!
Пропустите слабых мужчин!
Честь и место нахалам!
Ну начните ж
хоть в этом,
хоть в малом!..

РЕСПУБЛИКА ЗАПСИБ

В квартирах печи холодны, как полюс,
На улицах слезятся фонари.
Кто это выкрикнул: —
За что боролись?
— За родину. Понятно? Повтори.

Владимир Львов

Люди утренней смены
спать легли рано.
С третьей сменой полуночной
отошел состав.
Республика нашей молодости,
первым снегом укутанная
Заснула сладко и праведно,
богатырски устав.
Чернометаллургический
новый завод закладывается.

У республики нашей
шаги нетверды.
В этом ребенке-баловне
прорезываются, угадываются
все как есть — материнские
наследственные черты.

Долю вины и доблести
мы понесем в грядущее.
Да не утратят ясности
наши умы...
Что же, мои хорошие,
товарищи мои лучшие,
в лучшие наши годы
дело делали мы.

Соберутся когда-нибудь
ветераны республики,
наших лет незабываемых —
неуходящих тех.
Будут еще прихрамывать
уклонисты и путаники...
Время — одно. Погода
тоже одна на всех.

СТРАХ

Железными гвоздями
в меня вбивали страх —

с разбитыми костями
я уползал впотьмах...

Но призрак Чести вырос
как статуя во мгле —

вернулся я и выгрыз
позорный след в земле.

И стал я набираться
железных — этих — сил —

и стал — меня — бояться
тот, кто меня гвоздил.

А мне теперь, ей-богу,
не много чести в том

и радости не много
в бесстрашии моем.

* * *

У двух могильных ям
я мерз два года кряду.
Неправда, что друзьям
там ничего не надо.

Висит мусеничок
из капельных пылинок.
Осенний паучок
настроил паутинок,

и, в сапоги обут,
плетешься ты по грязи
среди алмазных пут
вот этой смертной связи.

И каждый божий день —
поднимешься с зарею —
встречаешь не один —
вас двое или трое.

И мил и близок свет,
которого не видел, —
и вот тебе завет
и жизни лишний выдел.

Вошла судьба в судьбу,
и долг российский долг —
и ноша на горбу,
и дождик, и проселок.

ПРОРАБ

И. Я. Бенюху

В него работа въелась,
он от работы — раб.
В его фамилию впелось
прозвание — прораб.

Когда бубнит он сипло
на коксовой чем свет,
понятно, что Запсиба
без Бенюха и нет.

Рассердятся ребята
порой на старика:
опять «в году тридцатом»,
опять «на КМК».

Полна работы мера,
и велика беда.
Затяжка — третья смена —
опиум труда!

Вот располосовало
за Томью полумрак:
стекает по отвалу
бело-багровый шлак.

Я жму прорабу руки,
в глаза его смотрю,
за труд и за науку
его благодарю.

За тяжкую индустрию,
за войны и уже —
о душе думаю,
о душе.

Наука дорогая:
не призрак и не дым —
жизнь его — другая,
не прожитая им.

* * *

Нарпитовская духота,
горячий над плитою ветер.
Гремит кастрюля на пять ведер,
шипит и пляшет, пролита,
вода — и светится плита,
и раздаются голоса

стряпух

из кухонного чада...

Какая чистая досада
на землю и на небеса!

Телефонистка мне грубит,
и нет во мне негодованья,
я слышу: об ином призыванье
все существо ее трубит.
Что грубость? Ненадежный щит.
А трубка плачет и пищит.

Людей я знаю по себе:
услышу — и переиначу...
Кассирша,
ничего не знача,
тебе выбрасывает сдачу
и зло срывает на тебе.

* * *

Я рисовал нехитрую картинку.
День вечерел, был холоден и сер.
Старушку в черном, словно паутинку,
пронес осенний ветер через сквер —

нагую душу в легкой оболочке —
и лишь оставил у меня в зрачках
косые ножки, детские чулочки
да туфельки на толстых каблуках.

И пронесло, и в сумерках — растерло,
размыло невысоко над землей.

Шло время —
 ровно,
 скорбно
 и просторно.
Листва взвивалась, обгоняя строй,
обратным колесом...
 Мне не хватило
для легкой той души прощальных слов —
сорвало,
 обняло,
 поворотило
и понесло в пролет между стволов.

* * *

Сквозь дождь и дерево нагое
свет фонаря едва прошел —
как ломкой золотой дугою
широкий вспыхнул ореол.

И поэтическое зреньё
подобную имеет власть:
вся жизнь вокруг стихотворенья
сомкнулась и переплелась.

Я вижу свет перед собою
и жизнь кругом — и вся она,
и каждая черта — любовью
осмыслена, озарена.

* * *

Служить садовником, и солнцем,
и черным ледяным колодцем
в углу сияющего сада —
и больше ничего не надо.

Но расцветала надо мной
и, на лицо земли сырой
мне цвет младенческий клоня,
моя стояла яблоня...

* * *

Живет огонь в печи,
живет герань в горшке,
мышонок за обоями
и дождик в потолке.

И тень живет в углу,
и дышит щель в стене —
и я сажусь к столу,
а жизни нет во мне.

Я знаю, где она,
я слов не соберу,
когда в мою светелку
она заходит поутру.

А щеки холодны,
зарей озарены:
как шла — так свет на ней
и ветер снежный от полей,
а слышу, как тепла.

— Вот молоко, ты пей,
вы пейте, я пошла.

И все. И я живу
до завтра, до нее,
и длится жизнь моя,
дыхание мое.

* * *

Ты погляди, как ветви ели
вливаются в единый ствол —
для дальней невозможной цели:
она не имя. Но глагол.

Ты укажи, в котором месте
на океане мировом
стоит безлюдный остров чести, —
ты ревновал о таковом.

Имен своих великолепье
несовершенство бытия
влачит, как золотые цепи.
Вперед, словесность, жизнь моя!

* * *

Врасплох, без видимой нужды
простая проза стала гулка
и музыкальная шкатулка
пошла перебирать лады:
уже в периоде одном

переливаются размеры,
и смысл ходит ходуном,
как будто при начале эры,
и я ушам своим не рад,
своим глазам не рад:

от сглаза —

чего же? —

со страницы

фраза

летит как змий-семикрылат!
И рифмы — по диагонали —
насквозь — навывлет — две скобы —
крест-накрест!

Наша ли вина ли,
что мы так живы, так слабы —
и так и пишем? Я писал
как слышал. Я ходил по хляби.
На данном творческом этапе
мне не до этого. Я стал
записывать.
Мои шаги оглохли.

* * *

Через поле, через лес.
Поднебесных и плакучих
елей сумрачный навес —
и никто мне не попутчик.

Тесны тропы бытия.
Топкая глухая хвоя.
Дебря Нижняя моя —
все наследство родовое.

Уцелел, на счастье, лист
рукописи стародавней —
озарен, глубок и мглист
темный свод родных преданий.

И роднее всех святынь —
невзначай в избе крестьянской —
наша гордая латынь —
кровь моя и смысл славянский.

Ничего не запишу —
позабуду без заботы.
Хоть умру — а продышу,
продышу — до той не м ó т ы...

* * *

В церквушечке затклая мгла,
преграда восходит подковой:
там вышибли камень замковый
и трещина ввысь поползла.

Исполнилось десять веков,
как мы повалили Сварога
и ради печального бога
крестили плетью мужиков.

А первую память души
пожгли, посекли, потопили.
Так эту преграду разбили,
так выдрали эти тяжи.

Печник тут работал киркой
в пустом и захламленном месте —

не думал о горьком возмездье,
вины не понес никакой.

...А дивно порой горячо
от старого пепла — донине
и дымом славянской святыни
мы дышим, мы дышим еще.

Кого бы на мысль навело
кумиров и храмов паденье
родные хранить — заблужденья,
и мир, и печаль, и тепло...

* * *

Пространство волнами покрыто,
над морем — одинокий крик:
здесь потонула Атлантида,
здесь захлебнулся материк.

Остался голос — эти земли
по голосу — восстанови!
Поэт, родимой речи внимли,
родное время оживи.



2

БАТУМИ

Тепла и сонна,
магнолия цвела
в объятьях лавра,
как Дездемона
в объятьях мавра, —
благоуханна и бела.
На берегах Галактиона
июля мгла.
Фонарь последнего вагона:
ла-ла,
ла-ла...

* * *

Исполнить юбилейный долг
мы ехали в селенье Вани.
Десятка два «Побед» и «Волг»
тянулось в нашем караване.

Землей и небом поверял,
что знал я о Галактионе,
и, оценив мемориал,
где мы толпились, как в загоне,

я удалился на задворки
под сень чинары и ветлы.
Официальные восторги
как похороны тяжелы.

Село Чквииси. Свет отвесный,
который носят на плечах.
Галактиона столик тесный,
оконце, дерево, очаг.

Да нищий полумрак дарбази¹,
да лица милые крестьян —
живое их однообразье.
А тут родился Тициан...

Граната пламя — дар небес, —
и благосклонный интерес
ко мне — красавицы Тамары,
и сердца бурные удары!

Был миг — и вспыхнул и погас.
Тогда вернулся я как раз

¹ Помещение для гостей в грузинском доме.

к церемоньяльному порядку,
и памятника шла закладка...

С какую жадною тоской,
лопаты расхватав, поэты
копают землю вперебой,
губя зеркальные штиблеты!

Сроднило всех на полчаса
крестьянской праведной нуждою.
Я мысленно запел «Одой»¹ —
один — на все на голоса.

ГАЛАКТИОН

Красота не виновата
в непомерности избытка.
Вай, художник, что за пытка!
Не гляди на цвет граната!
Красота не виновата...
Задохнулся —
и на русский
перевел в слезах от счастья
вашу негу, ваши страсти —
без усушки и утруски.
Я глядел во глубь колодца
и еще не знаю ныне, —
может, веточка привьется
и родимой древесине...
В полдень белый
невозбранно
вверх по улочке Кашена

¹ Трудовая песня.

я взбираюсь от Майдана
так нетвердо и душевно.
Стороне — стою — на правой —
и трезвею. И ни с места:
черноглазое семейство,
через крышу — ствол корявый.
Через пол и через крышу.
Как теснились, как нуждались,
это я прекрасно вижу.
Не срубили — догадались.
Я душа — переселенец,
помнящий края и сроки,
вижу снова, как младенец
обнимает ствол широкий.
А пока стою на правой,
на меня глядит как бука
некто
сотканный из звука,
бородатый и лукавый:
— Дерево земли прекрасной
и дитя — благословенны!
Несловесный, полногласный
чистый трепет сокровенный.
И — пошел-побрел слоновьей
валкой поступью своею —
за Последнею любовью —
за Последнею — за нею!

НЕ ПОЖАЛЕЮ

Я никогда не пожалею,
что так я кончу подвиг свой —
что я увижу Лорелею
на ослепленной мостовой!

Вослед тебе я оглянулся —
я сбит крылом грузовика —
не захотел — и не очнулся —
и так остался — на века —

в крови моей запечатленный
привет последний красоты —
среди безвыходной вселенной,
среди бездушной темноты.

* * *

Узнает все — и перевернет
колпак ученый.
Горячкой белой тот умрет,
а этот — черной.

Зажарят одного в аду,
другого — заморозят.
Я постою — и сам уйду.
Его — увозят.

Я — тень — далёко — на краю —
сторожевая.
Нельзя стоять, где я стою:
земля кривая.

А правый небеса коптит,
и нету сладу...
Галактиона тень летит —
ввысь по фасаду!

Чей стыд ты искупил, старик, —
и — в небо?
Семь лет перевозжу твой крик:
— Тависуплеба!¹

ДЕВЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ГАЛАКТИОНА

Довин-довли

Так пером блаженно водит
Ангел Третьего Завета,
Ибо женщина выходит
На дворцовый лед паркета.

Прочь отброшено введение
Книги путаной и странной —
Для единого мгновенья
Красоты обетованной!

Дай блаженному грузину
Опрокинуть возле трона
Всю цветочную корзину
Золотого Трианона!

Это грезилось в картинных
Галереях сей столицы,
В глубине зеркал старинных
Собиралось по крупнице.

Боже мой, какая мука,
Блажь какая и блаженство —

¹ Свобода (*груз.*).

Изваять — увы, из звука —
Вас, о Ваше Совершенство!

Неустанно, неустанно
Возношу хвалы Киприде.
Как версальские фонтаны
Подражают Вам — смотрите!

Довин-довли... Дева, дева,
Поглядите-ка налево:
Над грядой дубов и пиний,
Над дорожкой ярко-синей —
Полуночный ветер горный,

Иссиня-седой и черный —
Конь летит — по коже иней! —
Гость незванный, призрак вздорный...
И к чему такая спешность?
О зажмурьтесь, Ваша Нежность...

Это слезы? Не годится.
И — давайте — довин-довли —
Я спою Вам — я ведь птица,
Не люблю я птицеловли!

Довин-довли, довин-довли...¹

У окна

Седой, словно дух бесконечной дороги,
Сюда из-за тысячи дней
Притащится этот старик колченогий
И станет у двери моей.

¹ Сочетание звуков, ведомое одному Галактиону. Может быть, на грузинский слух, стук копыт.

И скрипочку верно приладит, и хлипко
Смычком поведет по струне.
Спина эта... Беглая эта улыбка,
До муки знакомая мне...

Споет обо всем, невозвратно прошедшем,
Взмахнет лебединым смычком —
И вскрикнет струна, и вздохнет, и прошепчет
О жребии верном моем.

Из сил из последних на светоч вечерний
Ни мертвый бреду, ни живой,
Постылые лавры и ржавые тернии
На камень швырну гробовой —

И все это значит, что участью лучшей
Отмечен я был меж людей.
Все так — в этой слезной — летящей — тягучей
Мелодии жизни моей.

* * *

Луна чиста до белого каленья,
И свет пульсирует, как бы висок.
Стоят деревья, преломив колени,
И тени чертят голубой песок.

Сегодня амфоры времен разбиты
И полон призраков дворцовый парк.
Сыны земли скользят, как селениты,
Из голубого света в сизый мрак.

Войска... Знамена... Тело на лафете...
И пусто. Женщина стоит — одна,
Как бы душа последняя на свете
И милосердие и тишина.

— О дни мои! — но замирают пени,
И слезы светятся, и созданы
Сердца прекрасные — во искупленье
Непоправимой роковой вины.

* * *

Мужайся, человек, гляди вперед:
Ты разогнал колеса маховые,
Ты разбудил прогресс — тебя несет
Новорожденная стихия!

Не жалуйся на время и потерь
Не числи. Адским пламенем и паром
В младенчестве ты обдан — что ж, поверь,
Что с дьяволом спознался ты недаром.

И все недаром, и утраты — впрок,
И красное и белое каленье —
Чтобы когда-нибудь ты превозмог
Позор и ужас самоистребленья.

* * *

Дождь-листобой.
В ночь — город вылинял! —
Стояли золотые дни —
И холод краски мира выровнял,
И видима душа: дохни...

Все голубое — твердо-матово,
То изморозь в голубизне.
А ветер налетел с Мадатова
Как смерть и как любовь —
Извне.

* * *

Вино туманно-голубое,
Шопена гордая молитва,
Колеблемая над резьбою
Чернофигурного пюпитра.

Пока мятутся
Паганини
Неистовые заклинанья,
Стоят — листа не проронили —
Осинники над Алазанью.

Порыв мятежный и высокий
Равнине той себя вверяет,
И шелестение осоки
Все страсти умиротворяет.

Меня отчизна не отвергнет,
А слезы непроизносимы...
Как пламя, вспыхивая, меркнет
В ресницах Алазани синей!

Надпись на книге «Манон Леско»

И я окружен глубиной безначальной,
Где сон проступает сквозь сон —
Как повесть иная сквозь этот печальный
Роман де Грие и Манон.

Столетия летят; на обложке шедевра —
Нежданный его эпилог —
Тревожные ритмы Парижа и Эвра,
Затянутый узел дорог,

Фиакры, наемные головорезы,
Дуэль, вероломство, тюрьма...

Разрушена вся богословская теза,
И логика сходит с ума.

А бедствий причина ясна и невинна,
И праведен тот, кто влюблен.
О бедный закон, о печальный старинный
Роман де Грие и Манон!

Осенняя стужа, влюбленные в роще,
И час их неверен и скор,
И страшно маячит им Гревская площадь,
Толпа и позорный костер.

Но петли уловов и тропы запрета
Уже разрешила, прошла
Как луч отлетевший, мгновенная эта,
Певучая эта стрела!

Утрата — и ужас. И ропот на бога.
И старый аббат поражен...
И рвется — и длится — темно, одиноко
Роман де Грие и Манон.

* * *

Тень каштана скользит по стеклу.
Там за нею — за дальнею далью —
Посетителя тень в зазеркалье —
Та же, в том же глубоком углу.

Это утро. Пустое кафе.
Я, входящий в чудесном смятенье.
Это Пушкин и спутницы-тени:
Экатомба и аутодафе.

Пистолет иль костер — все равно.
Черный остов иль малая ранка.

Для избранных этого ранга
Честь жены, честь эпохи — одно.

Где по мраморному алтарю
Жилка мерзлая — Черная речка, —
Там тебе только нож да овечка.
Слышишь, чернь — это я говорю.

Я тебе говорю, воронье:
Весть о жертве, о жесте высоком
Ты встречаешь желудочным соком.
Ты всегда получаешь свое.

* * *

Были цветы и колосья,
красные маки цвели —
где костромские полозья
след голубой провели.

Там начинаются горы.
Солнечная сторона,
стройно заполнены хоры,
празднично пихта черна.

Так ослепительным летом
слишком черна и резка —
помнишь? — на камне нагретом
тень полевого цветка.

Краток закат и обрывист.
Все хорошо, старина, —
если мне очи не выест
северная белизна.

* * *

Мальчишеский голос чистейший,
мальчишеский голос поет
про то, что погибнет сильнейший, —
поет и вздохнуть не дает.

И песня меня усыпляет,
и старая длится дуэль:
поверженный в небо стреляет,
а небо — хорошая цель.

За что же — родного — роднейший
оплачет, оплачет — убьет?
Зачем погибает сильнейший,
зачем этот мальчик поет?

И тихо поет он и грозно
про то, что нельзя воскресать,
про то, что напрасно и поздно
прохладные локти кусать.

Смолкает пронзительный голос —
молчи, заклинаю, молчи.
Смолкает как плачущий полоз
в морозной просторной ночи.

* * *

Метель в печной трубе
завоет о тебе,
и глаз, посаженный во лбу,
увидит всю твою судьбу.

Переплетаются пути.
Мне ничего не надо...
Светает около пяти,
и с гор летит прохлада.

Ты
 тихо
 впереди,
 левой
иди — в той кофточке твоей
салатовой и зябкой,
заколотой булавкой.
Иди, светись как лепесток.
Пылает поневоле
повернутое на восток
маковое поле.

Светись, пока священный ток
не причиняет боли.

В ГОРАХ

М. Луговской

В тени полупрозрачной траура
прошла она — не шелохнулась —
и вслед за нею имя Лаура —
хрусталь воздушный — потянулось,

и марево над камнем выжженным
дрожало и переливалось,
и сердце помыслам возвышенным
и скорби женской предавалось.

Мой милый, сны и сны,
а больше ничего
не стоило цены
терпенья твоего.

И это не базар
(что надо объяснить),
а неотвязный дар —
платить — платить — платить —

за все, чего давно
на свете больше нет.
За Город, за Окно,
где погасили Свет.

* * *

Петухи поют вторые,
на уста кладу печать я.
Не одобрил муж Марии
непорочного зачатья.

Он жену святому гостю
девственницею оставил.
Дар небес его состарил,
напоил тоской и злостью.

Ой какая, сердцеведы,
этой жизни сердцевина...
Понесем вины и беды —
только женщина невинна!

Судии Синедриона,
дело есть темно и свято.
Женщина — не виновата,
и не надо ей закона.

* * *

Кривое дерево реликтовых
и ревматических пород
из карликовых эвкалиптовых
застряло посреди болот.

Чуть дышит травяное чрево
перегорающей земли.
Терпения кривое дерево,
расти-расти, боли-боли.

Пошли, творенье, силу сильную
ему достойно дорасти —
листами, корнем, древесиною
молочной вяжущей кости.

Ошиблось не столетьем — эрою.
При мне, живом, стоит и мрет.
— Сломи! Сдери мне шкуру серую! —
не вытерпело и орет.

— Терпи. Куда терпенье денется
и кто усвоит подвиг твой —
укоренится и оденется
кривою серою корой?

ДЖВАРИ

Я вижу, как течет песчаник,
от крепости своей устав,
где тот мятежник и печальник
суровый выполнял устав.

Я поднимаюсь по ступеням
и в клетке каменной стою,
объятый холодом, терпением
и переживший жизнь мою.

Закопчены глухие ниши.
Здесь перед образом не зря
склонялся гибкий мальчик
ниже
всей братии монастыря.

Он не хотел, чтоб город грешный
его молитвой был храним.
За наш визит — пустой, поспешный —
мне будет совестно пред ним.

Сидит на выступе высоком,
оцепенев при свете дня,
сова — моя — и водит оком,
и слышит теплого меня.

И кто я — в темном и убогом
воображении ее?
Я только слово перед богом:
— Спаси и сохрани ее!

* * *

В скалу врезается асфальт
орлиными кругами —
знакомый

нежный

резкий альт

звонит в минорной гамме,
и плавно забирает вверх,
и рвется в крике слезном,
и гаснет словно фейерверк
в грузинском небе звездном.
Но вот как будто закруглен
на высоте альпийской
и педагогом отделен
от крика и от писка.
И я стою, заморожен,
у выгнутых решеток...
А в памяти — какой-то фон
каких-то хриплых глоток.
О как я мучился, немел,
как — с третьего стакана —
— Р-ревела буря, гром гремел... —
безбожно бесталанно.
Не обижайтесь, ничего...
Здесь верхняя октава
и завтрашнее мастерство.
Не обижайтесь, право!
Но мальчик в песне будет — весь,
и зал не стерпит фальши.
А вы как будто —

всё не здесь.

Куда ни кинь —

всё дальше.

* * *

Друзья мои, вы есть, вы были,
вы научились воскресать.
Со мной беседуете — или...
Не смею слова досказать.

И кто-то перевал осилит,
отпыхиваясь тяжело.
А ласточка летит навывлет
и невредимо — сквозь стекло.

И только звездчатая брешка...
И мы с тобою, милый мой,
туда, где вспыхивает вешка,
летим по ломаной прямой.

Сгорев гордыней и досадой,
ты взмыл — покинул Муштайд¹.
Ты говорил, что век десятый
в горах как облако стоит.

И дальше ни единым мигом
громада эта не пошла.
Турецким и татарским игом
поэзия пренебрегла.

А линии черны и белы,
а душу воспитала грань...
Ты знал, где обры, где иберы.
Как холодно! Какая рань!

¹ Садик в Тбилиси.

МЗИА

Одни шатильони ушли, а другие уснули.
Хевсуры легли каменеть в каменистую пашню.
Лишь тень Батареки, бессмертного Чинчараули
в селенье спускается с гор и скрывается в башню.

Террасы и башни под снегом. Все пусто и прочно,
и времени вольного некуда деть привиденьям.
В покинутый дом поднимается он еженощно,
влекомый все той же надеждой, измученный бдением.

И так же, как некогда было и будет вовеки,
восходит, восходит и медлит, считая ступени.
И слышит шаги незабвенная дочь Батареки:
стихает, но тихое не прерывается пенье.

Прекрасные звуки на свете все знают заране,
тринадцатилетнюю Мзию ничто не заботит —
пускай совершится печальное это преданье.
Отец мой любимый, отец, мое солнце, восходит...

Не пил Батареки в ту осень, охотился худо
и кровною местию сердце свое не утешил.
А дочка поет — он заслушался — будто бы чудо
услышал, увидел впервые, вошел и опешил.

Уступы родного селенья, небес очертанья,
туманноволнистые линии угля и мела
таинственно преображаются в нежной гортани:
дышала — и пела, молчала и слушала — пела.

Зачем ты поешь... О родное дитя, совершенство...
Не это ли, господи, воля твоя в человеке?
Он вынесет муки, но он не выносит блаженства.
Не вынес блаженства суровый хевсур Батареки.

Рука поднялась и ударила — все это было.
А вечером легкое тело он вынул из петли
и сгинул в горах. Но его не держала могила,
и тень на снегу появлялась, темнея и медля.

Светает, светает, и он покидает Шатили
и смотрит, и смотрит — и светится что-то

в проеме...

Стоит, замирая — и кажется, слышится... Или
и вправду селенье покинули все шатильони?

* * *

Ветреной ночью платан шелестит.
Легкая бездна навстречу летит.

Набережная гонит и гнет
этот ночной, этот душный полет.

Вот в мостовых простонало столбах,
дух захватило, скрипит на зубах...

Мальчик растет и смеется во сне.
Встань поутру, позабудь обо мне.

МАКИ

Слеза восковая и пыльный веночек,
цветные и жалостные муляжи.
И сосны и своды готической ночи —
так было однажды. Когда же? Скажи.

То место высокое и непростое
как тигр возлежало на плоском боку
и роща стареющего древостоя
сходила в ущелье — в котором веку?

В округе жила босоногая дура,
довольная тем, что не любит земли:
с утра по дороге бродила понуро
и выла: мзе хар габрцкинебули!

И было все это, клянусь, не впервые:
то поле — как пламя, и горы, и ты
клонила колени свои восковые,
смеялась, к лицу подносила цветы...

* * *

Разной крови — той же кожи
перевод с оригиналом
отвратительно похожи
в самом малом-малом-малом.
Будто гипсовая маска —
только от лица живого,
будто мертвенная ласка
холодеющего слова.
Исполать — на всем готовом
пусть живет — кому живется.
Я ушел путем суровым,
я не пропил первородства.
Той же дебрею-лощиной
пробираюсь еле-еле.
Кажется, на этом деле
я спознался с чертовщиной.

Пластику Лаокоона
надо понимать — костями.
С грамотой Галактиона
воротился во славяне.
Грозной скорби разрешение —
только слезы на ладони.
Только слезы. Шени, шени
чири ме ¹, Галактиони...

¹ Мне — твое горе (*груз.*).



3

БОРАТЫНСКИЙ. СЛОВО МИЛОСТИ

Читает, пишет. Взаперти, один.
Что означает это заточенье?
Свобода — деревянный рavelин,
и дарование есть порученье.

В Муранове себя замуровал.
Мураново, а там Каймары, Мара...
Созвучий круг — прибежище кошмара.
Прав Пушкин — звукам воли не давал.

Тоскует. Пьет. Да кто его ссылал?
Да на свободе — мало воли, что ли?
А он ушел от этой самой воли —
он этой воли сам не пожелал.

Судьба — усилье гордого ума.
А чем они венчаются, усилья?

Иронией... Ты спасена, Россия:
мы сами по себе и ты — сама.

Сороковые годы — вещь в себе.
Скудеют мысли — поумнели звуки.
Себе довлеет слово. Сами руки
все тянутся то к лепке, то к резьбе...

Невидимый, незрячий мелкий дождь.
Накопится — и в бочку капля капнет.
Терпи за сорок лет, российский Гамлет, —
и самого себя ты не убьешь.

Накопится — и капнет. И молчок.
И тишины никто не разумеет —
она накапливается, немеет...
А дождь по имени: мусеничок...

Другое бытие — другой словарь,
где так ясна и так невинна Сумерь,
где жив мужик, покуда он не умер,
как всякая живая божья тварь.

Здесь Родос — прыгни! Здесь, моя душа.
Пускай в Европе вольность шевелится —
свобода исподволь и хороша.
Ах родина! А речь твоя, а лица...

Ты прав, мой гений: втайне и вчерне,
и тем милей, что вовсе беззаботна.
Что мысль моя? Ужель она свободна,
коль так мертвит и давит сердце мне?

Пусть выбирает форму матерьял.
На то и опыт мой и очи зорки,

чтоб вещей смысл народной поговорки
надменную премудрость поверял.

Он вышел. Тихо, плажно — и со щек
щекотного дождя не вытирает.
Российский мученик, все повторяет
как слово милости: му-се-ни-чок...

* * *

...Отвергнул струны я —
Да хрящ другой мне будет плодоносен!

Боратынский

Ужаснулся — что́ содеял! — навсегда отрекся слов
и еловый бор посеял на две тысячи стволов —
без заботы о текучих нежных формах естества —
угадал в тенистых сучьях отреченные слова:
темный шум, глухая слава — все понятно
все равно,
Тишины святое право думающему дано.

* * *

Глядит, как лорд британский,
разбойник и поэт
Евгений Боратынский
четырнадцать лет.

Минует четверть века,
и полагает он

стихиям человека
хранительный закон.

Лишь только то, что плоско,
наш плоский ум вместит —
лишь маленькую блестку,
которая блестит;
а нам и это льстит,
как похвала подростку.
Создатель «Недоноска»
отчаянно грустит.

И все ж, себя измучив,
не ступит он за край,
где
 обитает

Тютчев.

Не надо, не ступай.

Ты здесь. Ты утешенье
тому, кто там бывал.
Тебя воображенье
убило наповал.

А что? А страх житейский,
тревога о жене —
как тот припадок детский,
как те слова вчерне...

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1

П р и з р а к :

Священны, Гамлет, узы естества.
Я это знаю — вы еще поймете.
Родную мать не назовите тетей,
господь вас упаси. Она права.

Она права как жизнь, чиста как боль,
слепа как счастье. Я ж несовершенем.
Мне поделом и призрачная роль,
и смерть врасплох, и вот... поступок женин.

2

Г е р т р у д а :

Я горя не могла перенести,
твой брат скорбел — и я любила брата,
как бы тебя... Смертельная утрата :
я умерла — я ожила. Прости.

Сменяет тризну брачный пир,
в короне — Клавдий моложавый.
А что трудней, не говорит Шекспир :
быть женщиной иль управлять державой.

3

Ш е к с п и р :

Не знаю, женщина. Перед тобой
мне не избыть божественного страха
и шагу не ступить : я как слепой,
как малое дитя — и это благо...

И каждый раз не стоят ни гроша
мой дар, мой опыт. Изменяет маска,
когда мучительно прихлынет краска.
Как жалок я — а ты — как хороша!

4

Г а м л е т:

Вот роль: себя не зная — всеми быть:
отцом убитым, автором без маски
и замысла блуждающую нить
не выпускать и притянуть к развязке.

Развязки — нет, хоть надо умереть.
Землей подавится любая драма —
как эта, видимая лишь на треть.
Прости, Офелия. Простите, мама.

5

Как у Шекспира пляшет строчка!
При тихом потрясенном зале —
как свищет слово-одиночка,
выделывая сальто-мортале!

Потеха взрослого дитяти.
И замысел он воздвигает
шутя, играя и не глядя:
не в этом смысл он полагает.

А был им крупно перемолот
до первых лиц, еще до света
не этой драмы черный холод...
Тогда бежал он от сюжета.

Потом — нашло. Потом вцепилось
и вечной тенью увязалось:
Возлюбленная утопилась,
покуда слово кувыркалось.

И он вернулся, все утратив,
назад — пособник и виновник —
и проклял сорок тысяч братьев
один несбывшийся любовник.

Да захлебнутся и потонут
Саксон Грамматик и датчане —
где ива скорбная, где омут
раскаяния и печали!

И впредь — молчанье. Той немоты
не одолел и не пытался
и, представляя анекдоты,
не плакал впредь и не смеялся.

ПУШКИН ПЕРЕВОДИТ

Все решено: наш Валленрод
обязан перевоплотиться
и муза — тоже. Новый род
потребовал. Теперь ты — львица,
и вот тебе поэма — клеть.
Пройдем же бодро переходы,
попробуем-ка все уметь.
Как плохи наши переводы!
И все же злее — немота,
для целой нации потеря.
Благословясь, погоним зверя.

И без помарок два листа
исписаны... А твари пленной
решетки любви: что за пыль!..
Постой. Ты здесь переступил,
импровизатор вдохновенный.
Здесь — не Мицкевич. Здесь простор
иной. Оставить? Будет вздор.
Отсечь? Погибнет благородный
росток — а волей несвободной
развить его мне не дано...
Случится же в начале песни
виденье странное: оно
ее ведет — благие вести
послышались... Путем слепца,
руководима волей тайной,
течет — а здесь все до конца
так ясно... Гибни, дар случайный.
Вперед, мой зверь! Да что с тобой?
Тебя охолодили прутья?
Но право же, их разогнуть я...
Над перечеркнутой строкой
сидит. Нет смысла продолжать —
не одолеть своей природы.
Нет, нет! Безумие — лишать
себя единственной свободы!
Российский смысл свое берет,
но, уважая смысл литовский,
оставим неприступный род
тебе, мой женственный Жуковский.
И рвет листок. Быть так. А нам,
мой милый гений, мой Адам,
в одном стихе — как в клетке тесно.
Останься ты — я выйду вон.
...Как вяло вышло б все, как пресно,
ты — был бы скучен, я — смешон.

ИВАНОВ, ЭТЮД «РАБА»

Раб неприятно голубой.
Ослабился: чего угодно?
Присел — глядит наверх. И потно
над вывернутою губой.
Приплюснут нос, наставил ухо,
показывает весь оскал,
как давешняя молодуха...
Нашел-таки чего искал,
раба составив по кускам
Вот —
предрасположенье духа.

И был им создан
рабский дух.
И были вы-жа-ты модели —
все — от подростков до старух, —
притом старухи молодели
и вкось из-подо лба глядели...
Разбит божественный сосуд,
претворена живая форма!

Он мучится, он мыслит гордо —
он кается. Года бегут,
и невелик, незамечаем,
мессия — будто нет его —
никем особенно не чаем —
невероятно божество —
гуляет по холмам Кампаньи —
пускай гуляет, день погож...

Позавчера он мылся в бане,
медноволос и белокож.

* * *

Я знаю без искусства,
что жизнь моя сбылась
и от избытка чувства
с печалью обнялась.

Не рано и не поздно —
посередине лет —
и солнечно, и звездно,
и просто: свет и свет.

* * *

Я с тобою буду кроток —
На тебя ли мне пенять,
оттого что самородок
невозможно разменять?

Ты почувствуешь тем боле,
как тяжел он и коряв,
где-нибудь на вольной воле
самородок потеряв.

Сердце охнет и зайдет,
станет больно и темно...
Был бы цел — лежит — найдется,
кто найдет — не все ль равно?

* * *

Наклоненные серые плиты,
оползанье, надлом и разлад.
Бук растет, разделяя граниты
(как писали лет двести назад).

Корень скручен и в камень завинчен.
Подивились и дальше пошли.
В этой местности корень первичен
и вторична щепотка земли.

Сыт пригоршнею каменной крошки
и летучей росой напоен
стланник скрюченный — рожки да ножки —
там, где зубчатый весь окоем.

Дальше — выше, где небом единым
можно жить на последней черте
в яром ветре и в облаке дымном
на летящей во мглу высоте.

НИКА

По волнам бухты
скачет скутер,
и свежий ветер — лучший скульптор —
единым замыслом объял
на свете лучший матерьял:
одним порывистым усилием
все обозначит без резца —
от голени и до лица —
и все обдаст

соленой пылью,
обдаст, и насухо опьет,
и замирает на мгновенье
и собственное вдохновенье
в богине мастер узнает,
и, выведя Nikeи крылья,
вдруг отлетает — душу выльях, —
не оглянувшись, на простор,
у пирса вырубив мотор!

ВЫБОР

Тот, кто стоял на мосту, не умел плавать.
Тот, кто стоял на мосту, не имел права
прыгнуть — чтоб утонуть... Невмоготу
слышать крик на воде — устоять на мосту.

Тот, кто тонул, передумал — промок, боится.
Вот уж когда сознание его двоится.
В тесных объятьях — оба пошли на дно,
и другого выхода не дано.

Так и предстали там: пузыри пуская.
Некто сказал — велика дерзость людская.
Смысла — нет и не будет. Живите пока.
Не для того не мерзнет Москва-река.

Непререкаемое косноязычье
клонится в сторону, и кончается притча.
Так и живут. И — жалость в них велика.
В дряхлой руке — горсть сырого песка.

Великолепный ствол простерт.
Все погибает быстро — или
годами мается — растет...
Какое дерево свалили!

КАЛЯЗИН

Как ты хорош и как ты грязен!
Привет, привет тебе, Калязин!
Где с Волгой Жабня — две реки
слились — еще во время Смуты
побили ляхов тверяки.
Теперь потомки-шалопуты
дерутся в праздник меж собой.
Душеспасительны скандалы:
ведут фамильный давний бой
кожевенники и валялы.
Однако уж который год,
как на междоусобной ниве
убитых не было: народ
воспитаннее стал, ленивей.
За Жабней церковь, в церкви поп,
ну а за Волгой дочь попова
ведет районный агитпроп,
лицом, как батюшка, сурова.
Калязин сорок лет назад
затоплен был наполовину.
Тогда подняли Волгу
над
камнями Углича.
Плотину
подставили. Там, за стеной,
он и красуется как пряник.

А мой Калязин — под водой,
всеобщего разлитья данник.
Земля понизилась, отволгла,
и Жабня раздалась, как Волга.
Под Волгой — щебень и пустырь.
Снесли, как дети, не оплавав,
полгорода и монастырь,
что устоял против поляков.
Поналомав камней и дров,
потом подумали: довольно...
Осталась поздних мастеров
классическая колокольня.
Она выходит из воды,
прикрывшей спешные труды.
Опасен волжский лед весной,
и угличане втихомолку,
чтоб не было беды какой,
по трубам выпускают Волгу.
И лед, когда вода ушла,
тяжелый, слабый от тепла,
ложится на берег исконный,
ломаясь, повторяя склоны:
фундаменты. Канава. Пень...
Рисунок грубый, но толковый —
слепой рельеф доледниковый,
не вытершийся по сей день.
Однако я себя ловлю
на сетовании бесплодном —
не то в характере народном:
за легкость я его люблю.

МУСОРГСКИЙ

А был Модест Петрович
учитель первый мой.
Его я крови крович,
ближайший и прямой.

А славно зубы ломит
отеческий родник!
Хоть замысел и пропит,
но ясен и велик.

Он сует нос свой сизый —
он чует шабаш лысый,
и смуту, и раскол,
и ручеек ползком.

И на зуб в звуке Углича —
зола и кислотца.
Младенческая улица
у красного крыльца...

Царевичево тельце
смердит — не довезти,
и надобно младенца
д р у г о в а извести.

Сгребли народ в овражек,
живой и неживой.
Поехал саркофажек,
а мальчик там — чужой.

И чей там замордован
и похоронен крик?
Еще не расколдован
заветный черновик...

С утра учитель пьяный,
и день за ним деньской —
мотивчик окаянный
да жалостный такой.

* * *

А. Межирову

Жена прогуливает дога
и машет хлыстиком,
псом огнедышащим ведома
на дачу к мистикам.

Житье-бытье у них двояко.
Земное — сбудется.
Чужая женщина. Собака.
Ничто не слюбится.

И дом — пустой. И нету дома —
и этой пристани...
Любовь разрушена как догма —
любовью к истине.

Для сердца сильное движенье,
сильнее прежнего,
И мужество, и постиженье
пространства свежего.

* * *

В Калязине душном шиповник цветет,
в Калязине влажном высок и опасен
разлив подземельных блуждающих вод —
при малом дожде оплывает Калязин.

Зачем на зубах эта терпкая вязь —
зеленая каменнокислая слива —
и странное чувство — никак не зовясь —
у теплого моря удушье прилива.

Лягушки звенят в потопленном бору,
такие лиловые и голубые!
Когда, я не знаю — весной, поутру —
а только не вынесу этой судьбы я.

И пальцем не тронут, никто не убьет,
а только не вынесу — жизни родимой...
В Калязине душном шиповник цветет,
неделю стоит, кисловатый, сладимый.

* * *

Туманный дождик тише тишины.
Серебряное облако лежит
отсюда — до Николы и Ключей.
Ты без платка передо мной стоишь,
и палехская золотая низь
унижает волосы твои.
В лесу еще сугробы. Дышит лес.
О раменье кругом едва-едва
белеет наледь. Поздний месяц май,

зажги свечу в холодном сельнике,
дохни — и душу видно: ра-ду-га...
То облако — живое. И сейчас
такое состояние небес,
что от земли тихонько отойдет
деревня — в облаке — и повисит
над полем, и качнется, и...

* * *

Если спросят на Суде:
— Ты ли грешен? — Я, — отвечу.
— И кого, когда и где
ты обидел, человече?

Поведу тогда рассказ
обо всех, кого хоть раз,
хоть нечаянно, невольно,
я обидел, сделал больно.

Так пройдет тяжелый час.

Председатель очи скосит
на божественный совет:
— Был ты счастлив или нет? —
столь же строго меня спросит.

— Был, скажу, и есмь, отвечу, —
буду жив, пока люблю... —
И — о том же — той же речью
Страшных Судий удивлю.

Кто-нибудь тогда, насупясь,
— Счастлив, скажет, хоть речист. —

И какой-нибудь Анубис,
как какой-нибудь штангист,

вынесет над головою
коромысло роковое,
сердце грешное живое
на две доли разорвет:

зло с добром шакал развесит.
Чаша добрая плывет.
Помышленья и дела...
Чаша злая поплыла...

Больше ничего не лезет,
ибо жизнь моя тесна.
Сорок зим уравновесит
сорок первая весна.

СТРАСТИ ЕГОРИЯ

Небо иконы подобно огню.
Горы подобны щелявому пню.
Корни — угорья.
Ангел стоит за горою. В горе
нечисть гнездится, а здесь на костре
жарят Егорья.

Он принимает назначенный труд:
вот уж на дыбу его волокут,
вот и в купели —
в черном котле, что кипит не шутя,
варят его — он глядит как дитя
из колыбели.

Видя мучители доблесть его,
чудной женою прельщают его,
вынув из вара.
Тут, пролетев, ему зренье затмил
ангел — и мученик наш посрамил
лесть Велиара.

Коник святого стоял и не ржал.
Правый лишь глаз его перебежал
на левую щеку.
Коник печальный все муки следил,
рядом стоял или где-то ходил
неподалеку.

Стерпит, покоен во славе венца,
страсти Егорий свои до конца
повествованья.
Глядячи в небо, дракона сразит,
но никакого не изобразит
лик ликованья.

БУКСИР

И. Дедкову

Буксует, никак не взберется
по темной и тихой реке —
одышка его отдается
так слышно в прибрежном леске.

Невидимо, барку ли, сплотку
выводит на плесо, гуднув.
Его обошла самоходка,
как стерлядь, бортом полыхнув.

Натягивается — провисает —
как в прорву уходит канат...
Костер на откосе мерцает,
светила над Волгой стоят.

Невидимо, бремя какое,
неведомое самому —
он тянет, буксуя и воя,
приветствуя Кострому.

* * *

Надевает он шляпу чудную,
веник плоский под мышку берет,
шагом мелким и косным в парную,
опираясь о стенку, идет.

Там исхлещется весь, изнеможет:
телу нужно, а пуще — душе,
и под голову веник подложит,
и лежит, и не дышит уже.

А малиновый крупный булыжник
раскалил не иначе как черт!
Страстотерпец, безвестный подвижник
на высоком полке распростерт.

Что вдыхает он с воздухом жгучим
и чего никогда не поймет?

Слова ему трудны,
и речь его темна
и смыслом взломана.
А как свежа природа!
Как на изломе празднично светла
свободы черная работа!

РОДНЫЕ

По России, по Сибири,
сам не знаю отчего,
так они меня любили,
как родного своего.
Все живое — тесно, больно —
вот стареют — смерти ждут,
а просты, а безглагольны...
Дом пустой — часы идут.
И везде переселенец
и нигде не сирота,
перепутал как младенец:
та родная или та?
Жив я, нищий и никчемный,
это — милое — копя:
— Целовек-от ты уценой,
так и жалко мне тебя. —
А и мне — и так, и жалко:
груди нет, спина да палка.
И гляжу и пропадаю:
так стояда б — молодая,
так бы руки прятала,
так бы зорко взглядывала.
И, ресницы притемня,
угадала бы меня...

Это — в рамке на стене,
будто в омуте на дне —
ты — не ты? В красе и славе
в лапоточках и с багром
в майский день в лесу на сплаве —
стлело время — вышел бром...
Не гляди уж так плачевно,
укоризну затая,
мама Ольга Алексевна
одинокая моя:
по Сибири, по России,
память милую храня,
без меня живут родные,
умирают без меня.

ДОМ

Спасибо за то,
что тонок и звонок,
что плачет ребенок
и лает собака.

Значенья лишены
случайного слова —
за пеленой стены
лишь музыка — едва...

В поле настольной лампы
будто издалека
будто чужая — эта
прожилистая рука.

Разогнутая тетрадь.
Лая собачьего,
шума ребячьего
милость и благодать.

МАМЕ

Не понимаю вечности,
но полагаю чувства мои
относительно бесконечности —
материнской любви.
Но такого сравнения
не выношу —
близостью гения
от рожденья дышу.

* * *

Век бы жил на этой просеке,
да еще один бы век,
где молоденькие сосенки
гнет-погнет и ломит снег.

Я бы глупое и нежное
деревце освободил:
бремя влажное и снежное
все бы стряхивал-ходил.

По рассвету-свету тихому
не хлопал бы дверьми,

научился бы по-ихнему
собеседовать с зверьми.

Баловал их солью-сахаром,
поил бы молоком,
был их лекарем и знахарем —
ходили бы гуськом

зверь за зверем за зверьком...

СОДЕРЖАНИЕ

1

«Тихо, важно все в природе...»	3
Напутствие	4
«Он сучок сбивал топориком...»	4
«Держит путь бродяга-книжник...»	5
Возле станции Иня	6
«Не облаяла собака...»	7
«Семистенок. Сто углов-укосяц...»	8
«Цепочка фонарей...»	10
Анюта	11
Жаворонок	13
Мгновение было такое	14
«Не будучи легким словом...»	15
«Шагала отделочница впереди...»	16
Гнев	17
Толпа	18
Республика Запсиб	19
Страх	20
«У двух могильных ям...»	21
Прораб	22

«Нарпитовская духота...»	23
«Я рисовал нехитрую картинку...»	24
«Сквозь дождь и дерево нагое...»	25
«Служить садовником, и солнцем...»	26
«Живет огонь в печи...»	26
«Ты погляди, как ветви ели...»	27
«Врасплох, без видимой нужды...»	27
«Через поле, через лес...»	28
«В церквущечке затхлая мгла...»	29
«Пространство волнами покрыто...»	30

2

Батуми	31
«Исполнить юбилейный долг...»	32
Галактион	33
Не пожалею	34
«Узнает все — и переврет...»	35
Девять заповедей Галактиона	36
Довин-довли	36
У окна	37
«Луна чиста до белого каленья...»	38
«Мужайся, человек, гляди вперед...»	39
«Дождь-листочкой»	39
«Припадает к чаше яда...»	40
«Вино туманно-голубое...»	41
Надпись на книге «Манон Леско»	41
«Тень каштана скользит по стеклу...»	42
«Были цветы и колосья...»	43
«Мальчишеский голос чистейший...»	44

«Метель в печной трубе...»	44
В горах	45
«От подземельного толчка...»	46
«Сиди и напевай...»	46
«Петухи поют вторые...»	47
«Кривое дерево реликтовых...»	48
Джвари	49
«В скалу врезается асфальт...»	50
«Друзья мои, вы есть, вы были...»	51
Мзиа	52
«Ветреной ночью платан шелестит...»	53
Маки	53
«Разной крови — той же кожи...»	54

3

Боратынский. Слово милости	56
«Ужаснулся — что содеял!..»	58
«Глядит, как лорд британский...»	58
Пять стихотворений	60
Пушкин переводит	62
Иванов, этюд «Раба»	64
Батюшков	65
«Я знаю без искусства...»	66
«Я с тобою буду кроток...»	66
«Наклоненные серые плиты...»	67
«Ника»	67
Выбор	68
«Тихонько подымает шлюз...»	69
«А лиственница хороша...»	69
Калязин	70

Мусоргский	72
«Жена прогуливает дога...»	73
«В Калязине душном шиповник цветет...»	74
«Туманный дождик тише тишины...»	74
«Если спросят на Суде...»	75
Страсти Егория	76
Буксир	77
«Надевает он шляпу чудную...»	78
Говорящий правду	79
Родные	80
Дом	81
Маме	82
«Век бы жил на этой просеке...»	82

*Владимир Николаевич
Леонович*

НИЖНЯЯ ДЕБРЯ

М., «Советский писатель», 1983, 88 стр.

План выпуска 1983 г. № 191

Редактор *Е. Л. Храмов*

Худож. редактор *Д. С. Мухин*

Техн. редактор *Н. В. Сидорова*

Корректор *Л. М. Вайнер*

ИБ № 3736

Сдано в набор 01.03.83. Подписано к печати 15.08.83. А 04597. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Школьная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 3,85. Уч.-изд. л. 3,42. Тираж 20000 экз.

Заказ № 4677. Цена 40 коп.

Издательство «Советский писатель», 121069,

Москва, ул. Воровского, 11

Типография издательства «Коммунист», 410002,

г. Саратов, ул. Волжская, 28

40 к.

